

Шаман

Михаил Веллер

Заблудиться в тайге — страшновато.

Не летом, когда тайга прокормит — а на исходе листопада, когда прихватывают ночные заморозки: жухнет бархатом палая листва, опускается инеем, и прозрачный воздух проткан морозными иголками.

До ближайшего жилья — километров двести, да знать бы, в какую сторону. А ружья у меня не было.

Мыл я в то лето золотишко с артелью старателей. Не слишком удачно.

И схватился с напарником. И не надо бы — «закон — тайга»... Вот в этой тайге я один и остался.

Поначалу дело было обычное.

Ручей, стылый и темный, растекался на два рукава. Идти следовало налево, где рукав огибал взгорок — под слоем листвы и мха явно каменистый.

Он сказал: направо.

За четыре месяца в тайге, командой в семь человек, на крутой работе — нервы сдают.

Мы сорвали глотки, выложив друг другу все, что о другом думали, но драки не было. Двое в тайге, нож у каждого, — если хочешь быть жив, не трогай другого.

Мы разошлись. Золота налево не было. С закоченевшими в мытье шлихов руками я вернулся к развилке. Он не пришел.

Зажигалка была полна бензина, я провел ночь у костра. А под утро зарядил дождь, заштриховал все серой сетью.

И тогда я сделал ошибку. Решил вернуться в лагерь. Сидел бы на месте — ребята раньше или позже пришли бы. У меня оставалось еще по банке тушенки и сгущенки, десяток сухарей и в коробочке от леденцов — леска и крючки. И три пачки сигарет да две чаю. Держаться можно долго.

Но я пошел, и где-то свернул не там. И, на беду, попал то ли на трассу геодезического хода, то ли еще что — и потерял наши затески.

К вечеру я понял, что сбился с пути и не знаю, как выбираться: солнце пряталось глубоко за серой хмарью, и я перестал представлять, в какой стороне ручей, в какой лагерь; а компас остался у него.

С восходом я влез на сосну повыше и увидел только «зеленое море тайги».

Еще двое суток я палил костер на поляне, подбрасывая весь день в дымокур сырой мох и листву — авось заметят дым: до лагеря было по прямой километров тридцать.

А на четвертый день решил держать на запад — вниз от водораздела: раньше или позже набреду на ручей или речушку, пойду по течению, а когда вода позволит — слажу плот и спущусь наплаву. Пока не наткнусь на людей, — уж какое-то поселение обязательно будет.

В рассказе этом — ни капли выдумки, все правда, и чтоб вам такой правды ввек не испытать.

У меня были карандаш и разрезанная пополам тетрадка — для снятия кроков: и я стал вести календарь: на всякий случай.

На шестой день у меня оставалась пачка сигарет и чуток чаю.

На восьмой — поймал в силок из лески рябчика: разложил петлю на упавшем сухом стволе и насыпал брусники. Я изжарил его на прутике и подумал, что все в порядке: выберусь. Если б еще ружье да пару пачек патронов, то и вовсе нормально было бы.

Вообще мне было стыдно, что я заблудился, и злился я на себя здорово. Правда, я не таежник: вырос в степи, а тайга новичков не любит, — да кто их любит? Ну и шел бы себе за тем, кто знает тайгу.

Я продирался через завалы, обходил бочаги и рисовал себе сладкие картины, как встречу этого паразита в городе и тут уж изменю его внешность в соответствии со своим вкусом, отведаю душу.

Чайник и топор остались у него; а я теперь собирал сухостой и ломал сучья, вместо того, чтоб швырнуть в огонь два ствола целиком и сдвигать всю ночь. Перед сном отгребал жар в сторону, прогретое костровище застилал нарезанным лапником, снимал ватник и укрывался им ("Спишь одетый — холодно, снял укрылся — тепло"). Утром вздувал тлевшие под пеплом головешки, снова сушил портянки и подсыревший от росы ватник, кипятил воду в жестянке из-под сгущенки, закрашивал ее парой чайнок, выкуривал одну сигарету и трогался.

Сыроежки я набирал в карманы, а бруснику в свою баночку, и съедал на привалах в середине дня и вечером. Несколько раз находил сморчки, но их приходилось варить часа два, крупные приходилось кипятить по частям, сколько в баночке поместится; однажды я варил их всю ночь, потом проспал полдня и подумал, что время дороже.

Хуже всего, что с голоду я сильно мерз.

На тринадцатый день я подумал, что хорошо вот в мороз — заснул себе и никаких проблем. После чего сел, закурил внеочередную сигарету из последних и устроил суд над собой: уколол руку ножом и на крови и стали поклялся, что выйду и выживу. Детский романтизм, вы скажете, но поставьте себя на мое место: явно пахнет ханой, надо же чем угодно поддерживать дух.

На семнадцатый день ночью выпал снег, и я понял, что дело-то хреново: рукавиц у меня не было. Я стал готовиться к зиме.

Отрезал по локоть рукава свитера, вынул из шапки иголку с ниткой и зашил их с одной стороны. К трусам вместо вынутой резинки приспособил тесемку от оторванного подола рубахи, а резинку пристроил на свободные концы шерстяных мешочков — получилось

вроде рукавиц без пальцев. Обмылком и песком старательно выстирал в бочажке белье и портянки: пропотевшее и засаленное хуже греет.

Стирая, я устал, накатывала дурнота, слабо и часто трепыхалось сердце, холодный пот прошиб: я понял, что здорово ослабел.

Снег выпадал еще раза два — и стаивал. Везло мне. Если снег прочно ляжет раньше, чем я выйду к воде, то — крышка: реки встанут льдом, и недалеко я по этому льду уйду...

На двадцать второй день я полдня пёр по болоту, если только экономную вялую походь можно назвать словом «пёр». И подморозил ноги. Выйдя на сухое, сразу разложил костер и долго растирал их, но стали побаливать и опухать. Суставы ныли. Вставать утром было больно: затекали локти, колени, поясница, пальцы. Я кряхтел, подстанывал, кипятил пихтовые иголки, проверял, все ли на месте, и трогался.

Утром первые полчаса идти было очень трудно. Хотелось лечь и послать все к чертям. Внутри противно дрожало, кружилась голова. Каждый шаг доставался через силу. Потом становилось легче, тело разогревалось, притуплялась боль, и я старался идти как можно ровнее, без ускорений и остановок, идти до вечера.

Ватник превратился в лохмотья; борода отросла и стала курчавиться. Через завалы я уже не лез, а обходил их, тщательно выбирая под ноги ровное место, чтоб не споткнуться и не тратить лишних сил.

Ручей я увидел на двадцать седьмой день — настоящий, большой ручей, который впадает где-то в реку, текущую к океану. Я б, наверно, заплакал от радости и гордости, если б так не выложился. А тут просто стоял, держась за сосенку, и смотрел.

Я развел костер, сел и выкурил предпоследнюю сигарету, оставленную на «День воды». Последняя лежала на «День жилья».

Пальцы слушались плохо, почти не чувствовали, и крючок к леске не привязывался никак. Я затянул узел зубами. Наживкой примотал красную шерстинку свитера.

Я задремал, и чуть не свалился в воду, когда дернуло леску, намотанную на палец. Хариус был чуть больше авторучки. Меня затрясло, очень хотелось съесть его сырым.

Но я почистил его и поджарил на огне, а из потрохов и головы сварил суп в банке и тоже съел.

Больше не клевало. Я отдохнул и подумал, что все в порядке. Что всегда был вынослив и живуч, что каждый день кипятил хвойный отвар и кровь из десен не идет, что река — она прокормит и выведет, а река — где-то уже недалеко.

По топкому берегу ручья чавкало подо мхом, надо было заботиться и не отморозить ноги.

Назавтра ручей перешел в какую-то бочажку, а бочажка растеклась в болотце.

Надо было б вернуться, попробовать наловить рыбы, сделать шалаш, передохнуть, — но зима подпирала. «Держи на запад!» — так приказывали старые парусные лощи в проливе Дрейка. Что бы ни было — держи на запад.

Я держал на запад.

Со мной повторялась история, известная мне по книгам. Я вырезал палку и опирался на нее, потому что ноги неожиданно подламывались или не могли подняться, чтобы перешагнуть упавший ствол. Потом сделал другую палку, удобнее: метра два длиной, с сучком на уровне груди. Ее можно было зажимать под мышку, как костыль, а перелезая через завал, упирать в землю и, перехватывая повыше, слегка подтягивать тело вверх на руках.

По утрам легкие трещали от кашля, как вошанка, вязкая мокрота залепляла грудь. Ноги опухли уже сильно, и я надрезал на подъеме головки сапог, иначе они не натягивались. После того, как я провалился в обморок, долго и тщетно силясь натянуть правый сапог, я перестал разуваться: лучше идти в мокрой обуви, чем босиком.

Во рту был такой вкус, будто я изгрыз пузырек с одеколоном и закусил шерстью.

Ходьба превратилась в тупое механическое действие, выматывающее, но такое же естественное и необходимое, как дыхание. Я уже больше ни о чем не думал, не строил планов, не имел желаний. Жил, дышал и шел, стараясь не забыть только одно: нельзя потерять зажигалку, там еще есть бензин, это — огонь и жизнь. Я знал, что иду к реке, знал, кто я, где, и что со мной случилось, но уже ничего не воспринимал: иногда понимал, что упал и лежу уже довольно давно, иногда — что ничего не видно, следовательно, это ночь, и надо остановиться и лечь поспать, иногда — что красное на руке, вероятно, кровь, и, значит, то ощущение, которое было какое-то время назад — это сучок расцарапал лицо.

Черная река дымилась среди снежных лесистых берегов, и белые мухи кружились и сеялись над ней под ровным серым небом. Я помнил, что мне нужна река, но не мог вспомнить, зачем. Река выглядела бесполезной. Это было препятствие, и через него нельзя было перейти. Это какой-то конец пути... это хорошо, но чем? Меня здесь никто не ждет. Я испугался паутиных обрывков мыслей и занялся костром и кипятком. Привычное занятие вернуло меня к действительности. Тонкие буравчики нарывов по всему телу мешали двигаться. Двигаться! По реке. Плыть.

Плот мне было не сладить. Сил не оставалось. Без топора? А как двигать бревна. Они тяжелые, это работа, калории, а калорий нет, не хватает даже на передвижение собственного тела. Я понимал краем сознания, что с соображением у меня что-то неладно, и пытался рассуждать как мог строго логически.

Строго логически я перебрал варианты и пошел берегом вниз по течению. Река — течение — люди — жизнь — цель; такую цепь мне удалось выстроить в своих рассуждениях.

Вечером я упал рядом с костерком и не смог встать. Надо было отдохнуть и набраться для этого сил. Набираясь сил, лучше всего лежать и дремать. Снег пушистый, это теплоизоляция, если он укроет сверху — это только лучше, теплее. Костер в это время не нужен, напрасная трата сил, он только снег растопит, и станет холоднее, а так он вроде гаснет — а становится теплей, идиот я, что раньше не понял такой простой вещи и тратил зря столько сил.....

Я понял, что замерзаю, что это — конец, и изо всех слабых сил сознания раздул черную искорку ужаса смерти... Спокойно спать в тепле, так хорошо, тихо, отдохнуть, без боли, это же так хорошо, самое лучшее...

Это было как вынырнуть с того света. Я орал, как в кошмаре, помогая себе проснуться и встать. Искал нож — уколоть руку, но ножа не было. Я встал на четвереньки, схватил снег зубами, проглотил...

Сова ухала в заснеженном лесу, и луна стояла над черной рекой. Я вздул угли костра и вскипятил воду. Последняя сигарета была очень крепкой, бодрила, возбуждала, от нее подташнивало, но и тошнота ощущалась, как полнота жизни. Я очень боялся заснуть. До света кипятил воду и пил.

Вылезло косматое солнце, зацвенькала в лесу птица, сучья трещали в бледном пламени, было тепло у огня, я забросил леску, поймал двух гольянчиков, опустил на пару секунд в кипяток, чтоб они прогрелись и тепла, энергии в организм поступало больше, поел и пошел.

Меня окликнули. На воде у берега качалась большая лодка, а в ней — весь наш класс. Ждали меня одного, чтоб плыть на тот берег за цветами. Я сказал, что мне нужно переодеться, но они закричали, и я побежал к ним.

Я пришел в себя на берегу, лежа на снегу с разбитым о камень лицом: упал и потерял сознание.

Был поворот реки, и за ним должен был открыться дом, и из трубы дым. И я дошел до поворота, хотя ноги уже не помещались в сапогах, это понималось по боли, но снять сапоги было невозможно, а срезать нечем — нож потерялся.

Но за поворотом опять была белая равнина и черная лента реки, я шел дальше, ковылял, тащился, падал и вставал, был еще поворот, и я пытался сообразить, это первый поворот или нет, потому что за вторым должен быть дом, и дым из трубы.

Зажигалки не было, я не мог разложить костер, а нет костра — значит, день не кончен, значит, это все продолжается один день, значит — надо идти.

Я чувствовал, что жизни мне отмерено до поворота, и подавлял в себе желание остановиться, чтоб жизнь продолжалась, а то поворот — и все... я уже соображал только то, что незачем тратить силы на удержание равновесия, я шел на четвереньках, и это было быстрее и легче.

Потом я уже вообще ничего не понимал, но, видимо, двигался.

И был звук. Второй. Хлопок. Резкий крепкий хлопок. Выстрел. Отчетливый выстрел охотничьего ружья. Громкий тугой удар из широкого гладкого ствола расшиб морозный воздух.

Я вскинулся и заорал. Вернее: дернулся и заскулил. Подтянул под себя руки и ноги и снова пошел на четвереньках.

Я шел в бреду, тайга и снег мешались с теплой ванной, жареным мясом и музыкой, теплое зимовье стояло на крымском берегу, в черной реке плавали загорелые девушки, а я шел на твердых ногах и все мог, потому что был жив.

Ватная вертикаль и серое небо.

Дым.

Настоящий.

Я захрипел и стал переставлять все четыре конечности в маршевом, как мне казалось, ритме. Я про себя кричал военные марши, походные песни и просто какой-то ритм, пожестче, потверже. Мотал головой и выдыхал в такт каждому движению, мычал и стонал.

Это была избушка.

Дыма над ней не было, а небо было зеленым и красным, потому что на самом деле наступило уже утро следующего дня.

Залаяла собака.

Собака была маленькая и черная. Лайка. На крыльце.

Поленница дров у стены под навесом, и перевернутая лодка на берегу, привязанная к дереву.

Собака лаяла.

На крыльцо вышел человек.

Он смотрел на меня.

Человек.

Я встал на ноги и спокойно сказал ему:

— Привет.

И не понял, что за хрип послышался рядом с моей головой, на снегу, со стороны.

Тут земля меня нокаутировала. И, ткнувшись лицом в снег, я успел подумать, что если это мираж, значит — все.

— Пей, пожалуйста...

Я был дома, на кровати, в странном сне. Хорошая рука поддерживала под затылок. Я проглотил что-то жгучее, потом что-то теплое и сладкое, и полетел, поплыл в ласковую, теплую пустоту.

— Не говори. Потом. Окрепнешь, поправишься — тогда разговаривать будем. Кушай суп.

Из ложки лилось в рот, я глотал что-то, разливающееся внутри болезненным теплом, приятной тяжестью, — и снова летел в пустоту. Сладко было в последний миг сознания

свободно разрешать себе лететь в нее, зная, что это можно и даже хорошо, что не надо ни о чем заботиться, мою жизнь кто-то держит в добрых и надежных руках.

— Восемь дней лежал. Про город разговаривал. Теперь все хорошо. Поправишься, в свой город поедешь.

Тикал будильник, бесконечность тиканья времени была прекрасна, восхитительна, хотелось плакать и смеяться.

Странная это была избушка. Книги теснились на самодельных полках, еловая лапа зеленела под портретом Че Гевары — вырезанной откуда-то репродукцией. А на двери был гиперреалистически выписан урбанистический пейзаж.

Я поправлялся. Возвращался в жизнь, как выныривал из теплой водной толщи. Черные корки отваливались с лица.

Хозяин нагрел воды и выкупал меня в корыте. Я выпил полкружки водки и уснул. Теплый сон растопил слезы моей ослабшей души.

Красное солнце зажигало наледь окон; косые кресты рам ложились на скобленные половицы. Хозяин сбрасывал заиндевевшие поленья; булькал чай, скреблась в сенах лайка.

Он снимал рассверленный карабин и уходил на лыжах экономным шагом таежника. Легкая черная лайка бежала рядом по насту.

Я подметал жильё, мыл посуду, курил и снимал книги с полок — ложился отдыхать. Японский транзистор тихо гремел музыкой большого мира.

Он поил меня бульонами, ухой, ягодными киселями и отварами трав.

Хотел бы я когда-нибудь рассчитаться со всеми, кто помог мне выжить.

Как? Чем?.. Я — не врач, не солдат, не строитель и не хлебороб?..

Я мог подолгу сидеть и стоять. Кашель не раздирал меня, и табак сделался вновь приятен. Блаженство жить усиливалось.

Мы коротали вечера разговорами. Латунные блики керосиновой лампы перебежали по бисеру и бляшкам мехового убора на стене. Силы жизни возвращались: я скрывал любопытство.

Я рассказал свою историю. Хозяин кивнул своим лицом идола — скуластой маской темного дерева. Латунный блик был как обруч на черных гладких волосах. В узких черных глазах ровно и глубоко отсвечивали огоньки.

— Много таких дураков, как я? — Я хотел подольститься.

— Лучшие и худшие из людей такие, как ты.

— Почему лучшие — и худшие.

— Это одно и то же.

Он говорил ровно, с паузами, прижимая огонек трубки тонким пальцем с плоским нежным ногтем.

Его звали Мулка. Отец его отца был шаманом нганасан — маленького лесного народа, таежного племени. Одежда и бубен шамана висели на стене, конопаченной мхом.

Внук шамана учился в Красноярске, Москве и Ташкенте. Знал английский, узбекский и фарси. Русский язык его рассуждений был изыскан и богат. Его речь была речью образованного человека. Более образованного, чем я.

— Я хотел стать Учителем. — Он произнес это слово с большой буквы. — Но если чего-то хочешь, надо остановиться вовремя. Я хотел знать все, и я не остановился вовремя. Теперь я не могу быть никем. Потому что я понял Жизнь. — Это слово он тоже произнес с большой буквы.

Энциклопедия Гегеля стояла между Платоном и Спенсером на сосновой полке. Раз в три года Мулка, сдав белок и соболей, путешествовал к московским букинистам.

— Почему ты не живешь со своим народом?

— Я желаю ему счастья.

— Ты принесешь ему знание.

— Мой дед был шаман. Пусть злой груз останется на моих плечах. Это справедливо.

Станный хозяин странной избушки жил отшельником. Он не хотел вернуться к людям своей крови, чтоб не отравить их своим знанием; он не хотел жить в большом городе большой жизнью, считая своим долгом делить нелегкую жизнь своего народа. Я уважал его, не понимая.

Он проводит меня до точки промысловика: шестьдесят километров. Вызовут вертолет или «аннушку». Я предвкушал встречи в Ленинграде. Гордость круто соленым ломтем настоящей жизни. Время набрасывало счастливый флёр на пережитое.

Любопытство снедало меня. Хозяин, сальноволосый северный идол, был непроницаем, заботлив, ровен. В прощальный вечер он выставил бутылку спирта. Лайка в сених грызла кости обглоданного нами глухаря.

— Ты дашь клятву, что никто не узнает того, что ты услышишь. Я не должен говорить тебе этого. Но я тоже человек. Я слаб тщеславию. А ты умен и образован, ты, быть может, сумеешь понять меня.

Я подлец. Он спас мне жизнь, но я не сдержал данной ему клятвы.

Путь человека есть путь знания.

Я клялся жизнью своего народа.

— У тебя было все, о чем мечтает большинство, — так начал Мулка книгочей и внук шамана, свою недлинную речь.

— Ты молод, красив, здоров, образован. Твоя красивая жена любила тебя и была хорошей женой. У тебя была карьера, хорошая зарплата, дом в Ленинграде, друзья и уважение людей. Ты был счастлив, скажут люди. Нет, скажешь ты.

Так сказал Мулка, и это была правда.

— Ты упорно строил себе здание счастья, но тебе стало неинтересно в нем жить. Твоя жизнь определилась и пошла по течению, и ощущение живой жизни, ее полноты, остроты — ослабло. Тебе стало неинтересно. Ценное перестало быть ценным. И ты бросил все.

Человеку свойственно бросать все, чего он добивался как счастья. Человеку всегда мало, он ненасытен по природе своей. Идеал принципиально недостижим. Это первое, — сказал Мулка.

— Второе, — сказал он. — Обратись к своей памяти. Уже сейчас пережитые трудности дороги тебе. Воспоминания ясно показывают, что для человека главное в жизни. Солнечное утро после дождливой ночи, закат над рекой — что в них? А несколько таких

картин человек помнит всю жизнь как высшее счастье. Счастье бытия, единения с миром и вселенной.

А дальше — воспоминания о взлетах духа и больших радостях, хотя поводы к ним бывают мелки: подарок в детстве, новая вещь, верность друга в тяжелую минуту.

За ними — воспоминания о том, что мучит память и не прощается себе. О холодке грехов. О первом познании женщины и высшем наслаждении ею. О тягчайших испытаниях и опасностях.

А годы работы, учебы, важных дел — могут выпасть из памяти почти целиком: ничто в них глубоко не затронуло чувства.

— Третье, — продолжал Мулка. — Чем это объясняется? Тем, что воспоминания субъективны: не то помнится, что рассудок считает важным, а то, что нервная система ощущает сильно. Память хранит не общепринятые ценности, а сильное ощущение.

Жизнь для человека — субъективно — это сумма ощущений. Потребность насытиться ими, а не накопить придуманные рассудком блага — вот что ведет нас по жизни. Отказ от карьеры, благополучия, самой жизни — объясняется потребностью в ощущениях.

Я ощущаю — значит, я живу. А не «я добился» или «я имею».

— Четвертое, — сказал он. — Ощущения связаны с реальным миром. Если лишить человека возможности слышать, видеть, осязать, лишить контактов с миром — он перестанет осознавать себя и сойдет с ума; такие опыты описаны.

Ощущение есть результат взаимодействия с миром. То есть для ощущения необходимо действие. Инстинкт жизни велит ощущать, и инстинкт жизни велит действовать, — это одно и то же. Жизнь — это самореализация: потребность действовать в полную меру своих сил.

— Пятое, — сказал он. — Максимальные ощущения и максимальные действия.

Понять какое-то явление можно только тогда, когда берешь не какой-то его отрезок, а рассматриваешь явление целиком, на всем его протяжении от начала до самого конца.

В жизни это: на одном конце — смерть, небытие, ничто, — на другом максимум жизни, максимум ощущений: максимум действий.

И поскольку человек живет и хочет жить, то вот к этому максимуму он в общем и стремится.

Лопата заменяется экскаватором, лошадь — самолетом, молоток — конвейером: таков результат стремления человечества к максимальным ощущениям через максимальные действия.

— И шестое, — сказал он скорбно. — Есть действия созидательные и действия разрушительные.

Созидать — в природе человека: весь прогресс — доказательство тому.

Но и разрушать — тоже в его натуре. Притягательность картин катастроф, лавин, потоков — доказательство тому.

Строя дом, ты убиваешь деревья.

Какое же может быть самое максимальное действие, к которому стремится человек и человечество?

Это — вообще создать новую планету. Или — уничтожить уже имеющуюся. Это равновеликие действия, как бы противоположные по знаку. Но и их я не назвал бы максимальными.

Максимальное действие — это уничтожение Вселенной и одновременно создание новой Вселенной. Обращение всей материи в свет по эйнштейновской формуле $E = mc^2$.

Уничтожение и созидание здесь — единый акт.

— С этим ничего не поделаешь, — сказал он. — Наши воля и разум — лишь часть бытия, они внутри его; жизнь управляется законами жизни, а не человеческим хотением. Человек хочет жить — и из этого следует, что человек должен уничтожить Вселенную.

— Конечный результат всегда и есть объективная цель, — сказал он.

Слова его не воспринимались всерьез. Жизнь уютно закуклилась в странной избушке посреди трескучей ночи в заснеженной тайге. Я покачал головой и вякнул о наивности и пессимизме.

— Объективная истина — выше ограниченных нужд и представлений человека, — сказал он. — Не будем антропоцентристами.

Кто мыслит ясно — излагает ясно и просто.

— Чтобы понять явление, надо взять единую и верную систему отсчета, систему его измерения.

— Эта система — энергия.

Пространство, поле, масса, жизнь — имеют общим энергию. Энергия определяет все. Все имеет энергетический аспект.

Энергетическая система отчета позволяет обобщить все аспекты существования материи — от человека с его нервной тканью до существования Вселенной с ее физическими законами.

Любое действие есть нарушение энергетического баланса.

— Биология, — сказал Мулка.

Жизнь на Земле — это изменение и усложнение форм преобразования энергии. (Растения, холодно-и теплокровные животные, хищники.)

Энергия вещества Земли уменьшается: оно остывает. Но одновременно живые организмы, множась и усложняясь, выделяют все больше энергии из самого вещества планеты: кислорода воды и воздуха, минеральных соединений и прочего.

С появлением человека — венца жизни — этот процесс убыстрился: выделяется энергия нефти, угля, сланцев, газа...

Масса переходит в энергию — через посредство человека.

Уже сейчас в принципе можно вовлечь в неуправляемую термоядерную реакцию (взрыв сверхмощного водородного боеприпаса) весь водород воды и атмосферы Земли: выделение колоссальной энергии.

Превратится Земля в ледяной шар или в сгусток плазмы? Борьба противоположных тенденций благодаря наличию жизни решается в пользу второго: максимальное преобразование массы в энергию.

— История, — сказал Мулка.

Не случайно Прометей дал людям огонь и ремесла одновременно. История человечества — это история преобразования мира и выделения энергии. Человек стал человеком тогда, когда овладел огнем.

Все больше еды, жилищ, тепла, вещей, — преобразование все большего количества материи и энергии.

Все более крупные войны, более мощные орудия труда, — все большие выплески энергии.

Человек все сложнее и изощреннее преобразует материю планеты, извлекая все больше энергии. Конечный, абсолютный результат — извлечение всей энергии из всей массы.

— Психология, — сказал Мулка.

Почему человек смотрит в огонь? Потому что в обычных земных условиях это максимальное выделение энергии из материи.

Бытие — это преобразование энергии. Все живое тянется к бытию — поэтому смотрят в огонь животные и летят на огонь насекомые.

Текущая река, водопад, пролетающий за окном вагона пейзаж, — почему притягивают взор? Потому что это картины большого преобразования и выделения энергии, происходящих при этом.

«Типические сновидения» — кошмары, полеты во сне, преступления — отчего они? Оттого, что во сне воображаются максимальные действия: полет — невозможен, совершить невозможное — это максимально в идеале; и в таких снах человек получает максимальные ощущения. Поэтому часто испытывают во сне девушки наслаждение любви — даже те, кто никогда не испытывал его наяву.

А максимальное ощущение, как мы говорили, вызывается максимальным действием, то есть максимальным преобразованием энергии. Максимум — выделение всей энергии планеты, галактики, Вселенной. Чувства человека стремятся к этому.

— Физика, — сказал Мулка.

Жизнь — продукт бытия и одновременно его орудие.

Человек — тоже: продукт бытия и одновременно его орудие.

Жизнь и человек — этап в эволюции энергии, которая и есть бытие.

$E = mc^2$, $m = E/c^2$. Вся энергия стремится перейти в массу, а вся масса стремится перейти в энергию. Такие переходы — повторяющиеся циклы. Наше время — цикл перехода в энергию.

Два полюса существования материи: стремление к абсолютному покою — и стремление к отдаче максимального количества содержащейся в ней энергии. Аннигиляция — идеальное удовлетворение обоим этим условиям: нет покоя большего, чем небытие, а энергия выделяется полностью.

Аннигиляция Вселенной — это преобразование и выделение всей ее энергии; конец Вселенной и зарождение новой Вселенной.

Человек — орудие этого вечного цикла.

— Философия, — подытожил Мулка.

Гераклит; Гегель. Любое явление по мере развития переходит в свою противоположность. Отрицание отрицания: любое явление в конце концов изживает само себя. Все имеет начало и конец.

Созидательная деятельность человека неизбежно и необходимо переросла в разрушительную. Количественные изменения перешли в качественные.

Создание цивилизации в конечном итоге есть уничтожение цивилизации и всей планеты.

Противоположности едины в своем противоречии: аннигилировав Вселенную, мы создадим новую Вселенную; уничтожив жизнь — создадим будущую жизнь.

Он замолчал торжественно, как гордый приговором преступник.

— А если есть космические пришельцы? — спросил я утром.

— Я в них не верю, — ответил он. — Но, вообще, это меняло бы дело. Возможно, мы — тупиковая ветвь, и должны ограничить свои действия собственной цивилизацией. Или просто самоуничтожиться, чтоб не уничтожить больше. Может, мы мешаем им выполнять закон Вселенной, а может, они хотят его обойти. Может, они хотят предотвратить войну у нас сейчас, чтоб мы сумели грохнуть всю галактику позднее... Трудно сказать. Но в принципе это ничего не меняет!

— Я думаю, что войны не будет, — добавил он. — Это промежуточный этап, маловатая задача... Я думаю, задача человечества в большем.

— И то хорошо, — хмыкнул я. — Я тоже думаю, что задача человечества в большем.

Древний идол смотрел из глаз внука шамана:

— Это универсальная теория. Теория максимальных ощущений. Теория максимальных действий. Добро обращается во зло, а зло — в добро; дай только время. Путь человека — путь знания и созидания — ведет к концу человечества. Стремясь упорно и долго — ты приходишь к противоположному. Уничтожая таланты и сопротивляясь прогрессу, общество стремилось сохранить себя. Любой шаг вперед — шаг к концу.

Это знаю я один. Поэтому я ушел от людей и моего народа. Пусть знание не омрачает жизнь моего народа. Пусть матери радуются рождению детей и верят в счастье детей их детей. Храня знание в себе и ничего не делая, я продляю жизнь человечеству насколько могу.

«В своем ли уме он в одинокой избушке посреди тайги?» — подумал я.

Запасные лыжи, смена теплого белья, байковые портянки, фланелевая рубаша, двойные варежки, цигейковая меховушка, лисья шапка. Табак, спички, нож, соль, сахар, лосиное мясо.

Ртутное солнце белело сквозь серый свод над серой равниной. Кромка леса по сторонам замерзшей ректы отчеркивала пространство. Белый простор разворачивался впереди.

Мулка прокладывал лыжню. Короткие лыжи, подбитые лосиным камусом, мерно продвигались, уплотняя снег.

Лайка бежала за ним по утоптанной тропе.

Мы вышли затемно, и затемно пришли.

— Никак Мулка пожаловал! Ну-у, что-т-то бу-удет!

Промысловика звали Саша Матвеевко, и родом он был с Донбасса. Вторую зиму Саша работал без напарника: ловил рыбу, ставил капканы.

Под единым с домом навесом помещалась банька, запасы дров, сушились связки рыбы и беличьей шкурки.

— Гости! Ну праздник! — Саша сиял.

Он вытопил баньку, и мы отхлестались вениками.

Саня подумал, сбрил бороду, надел белую вышитую рубаху и оказался заводным и смешливым тридцатилетним парнем. Толсто напластал чира и нельму — янтарно-розовую, тающую. Выставил бутылку ("я ящик на сезон беру, еще есть").

— Ах, хорошо! Вот не чайал!

Я рассказывал. Саня ахал. Мулка курил.

Трещала печь, жарились оттаявшие рябчики ("есть хоть кого угостить"). Уютно светила керосиновая лампа. Юная москвичка смеялась на Ленинских горах со стены — с обложки «Огонька»....

Утром я вышел проводить Мулку.

Снег, сумрак, дымок над крышей.

Лайка стояла у его ног.

— Я зря вывел тебя, — сказал Мулка.

Вчера.

Мы остановились, сварили чаю и перекурили.

— Теперь я буду прокладывать. — И я пошел вперед. Оглянулся.

Его глаза полыхнули.

Черные бойницы. Динамит.

Правая рука снимает ремень ружья за спиной.

Я бежал, задыхаясь.

— Стой!

В груди резало и свистело. Пот. Гири на ногах.

— Стой!

Холод между лопаток.

Моя большая, огромная, слабая, беззащитная, живая спина.

Сердце, позвоночник, легкие, желудок — просвечивают ясно, как на мишени, слегка прикрытые одеждой и плотью.

Щелчок бойка, дубиной бьет горячая пуля, не мигает черный глаз природного охотника, таежного снайпера. Сторожа тайны своей.

Я ограбил его существование. Унес его мысли, его тайну. Разрушил его жизнь, лишил ее смысла. Зачем теперь охранять себя от людей в тайге — собственному тюремщику?

— Я бросил ружье!! Эй!.. Бросил!

Он положил ружье в снег, вынув патроны, и отошел назад.

Я вернулся. Страх, стыд, неуверенность...

Я обессилел, в поту и дрожи. Он сварил крутой чай, сыпанул полкружки сахару.

— Ты что, меня испугался? Тайга; это бывает... Что ты... Сам подумай — зачем бы я мог, как, почему? Я просто ружье поправил! Пей, пей, сейчас пойдем дальше, а то ты вспотел, нельзя отдыхать, простудиться можно, надо идти.

Спасенный не стоит спасителя. Кто я? Ценою в грош.

Он шел впереди. Патроны были у него.

Я за ним, в ста шагах. С пустым карабином. Старым армейским симоновским карабином, рассверленным под восемь миллиметров, чтоб не подходили стандартные патроны и снизилась прицельность и дальность боя — хватит и так. Такие продают охотникам местных народностей.

Он вынул нож, точеный ребятами где-то в мастерской из клапанной стали. Ручка резной кости: длинны вечера в тайге, бесконечен и прихотлив узор.

Нож свистнул в полутьме, стукнул: вошел в торчащий из снега сук шагах в двадцати.

— Дело сделано, — сказал Мулка и улыбнулся весело и с превосходством, какая-то назидательная была улыбка; или это мне в темноте показалось? — Я не сохранил знание. Я только человек... А ружье мне было бы не нужно.

Нож с костяной узорной рукоятью. Страх и безмолвие.

Синий след, синяя равнина, царапина лыжни уходит за поворот, как за горизонт. Черная точка.

Совість, больная знанием. Знание, больное гордыней.

В десять утра Саня, проклиная богов севера, чертей эфира и диспетчеров госпромхоза, настроил рацию и, выйдя на связь с диспетчерской, заказал санрейс.

Я помогал ему паковать в кули мороженую рыбу и пересчитывать песцовые шкурки.

Потом он ушел по путику проверять капканы, а я топил печь, месил тесто, варил гусятину с лапшой — и думал...

Через месяц я послал Мулке — через Санин адрес — из Ленинграда две пары водолазного белья, «Историю античной эстетики» Лосева, хорошую трубку с табаком и водонепроницаемые светящиеся часы для подводного плавания. Ответа не получил, но ведь писать я и сам не люблю.

В Ленинград ко мне Мулка так и не приехал, еще на пару писем — не ответил; да и писал-то я на Саню.

А Саня через полтора года, летом, позвонил в мою дверь — и гостил две недели из своего полугодового, с оплаченными раз в три года, билетами, полярного отпуска: две недели загула, напора и «отведения души».

— Чудак, — сказал он о Мулке. — Глаза жестокие, а сам добрый. Умный! В двух университетах учился. Говорят, шаманом хотел быть, а потом выучился и раздумал, а трудиться нормально ему, вроде, религия не позволяет... или с родней поссорился, говорят....

Я провожал его в ресторане гостиницы «Московская». Дружески-одобрительный официант менял бутылки с коньяком. В полумраке сцены, в приглушенных прожекторах, девушки в газе и кисее изгибались под музыку, танцуя баядер. Саня облизал губы.

— Я тебе вот что скажу, — сказал он. — ПрОклятое то место. Я на этой точке два плана делал, по полтора ста песцов ловил, рыбы шесть тонн. Бензиновый движок в прошлом году купил, электричество сделал. А только не вернусь туда больше. Найду желающего, продам ему все там, тысячи четыре точно возьму, и — ша...

Я не понял.

— Пошел Мулке подарок твой относить — а там и нет ничего... Вообще ничего, понял?

— Может, не нашел? — Я улыбнулся, начиная подозревать истину.

— Как не найти — прямо на берегу стояла?! Что я, один год в тайге, не ходил по ней, что ли?.. Заночевал у костра, назавтра все там исходил, дальше дошел — аж до Чертова Пальца, а это на десять километров дальше, понял? — Он выпил, изящно промокнул губы салфеткой и положил ее обратно на колени. — А назад иду — вот она, избушка! Пустая! Черная... Ближе подошел — все настезь, все покосилось. И... и кости собачьи на крыльце.

Ну — я пощипал себя, что не сплю, и по реке вниз обратно — задницу в горсть, и мелкими скачками. У поворота оглянулся — а там свет в окне! И собака залаяла!

До дому долетел — не знаю как. Печь растопил, сижу у нее и трясусь. И ружье рядом.

А потом — тринадцать дней ровно! — все капканы как один пустые! Каждый день обхожу, еще десяток в запасе был — поставил: ничего! И рыба: две сетки в прорубях у меня: пусто, понял! Ну, думаю, плохо дело...

А на четырнадцатую ночь просыпаюсь: скребется кто-то на крыше, ходит. Аж дух замер. Тихо встал, ружье взвел — и прямо из открытых дверей вверх! Слышу — спрыгнул кто-то на ту сторону. Я — туда: росомаха пожаловала, улепетьивает! И сразу я ее свалил, одной пулей, ночью — прямо в хребет.

И в этот день — все ловушки с добычей! Все как есть! Эт что такое, ты мне скажи, а?! Твое здоровье!

— Саня, — сказал я, — кончай врать. Эти байки девочкам в Сочи травить будешь. Часы у тебя на руке — те, что я Мулке посылал.

Он побагровел, сдернул руку под стол и засуетился:

— Часы я такие в Москве купил, удобные часы. Ты что, в ГУМе купил, как раз выкинули...

— Сколько стоят?

— Что я, помню?.. Деньги летят, знаешь...

— А те часы где?

— Те я у избушки оставил... положил, и бежать.

— Значит, посылку открыл, раз знаешь про них?

— А что им зря пропадать, — пробурчал он, совершенно уничтоженный. — Хочешь — забери, что мне... я просто на память...

Я вздохнул. Что с него возьмешь, беззлобного. Он и свое отдал бы еще легче, чем мое взял. Понравилось, и все тут, велик ли грех, он тут со мной уже две недели деньги расшвыривает, ящик этих часов прогулял небось.

— Сколько тебе лет, Саня?

— Двадцать девять, — ответил он с обидой. — Жениться вот думаю, пора. Не посоветуешь?

Это было полтора года спустя.

А тогда солнце дробилось радугой в пропеллере. «Аннушка» протарахтела, снижаясь и скользя, качнула крыльями и села на реку, вспоров два веера алмазной пыли. Летчики в собачьих унтах и цигейковых куртках закурили и пошли к избушке угоститься рыбкой.

Саня хлопотал: чай заварил индийский, выставил субудай — малосол из свежей, вчера вынутой из проруби, нельмы, с солью, уксусом, перцем и чесноком, подарил им по глухарю: с летчиками надо дружить, чтоб прилетать хотели, от летчиков много зависит.

Я помог ему таскать кули и связки в самолет.

— Заблудился, значит? Бывает. Хорошо еще, что нашелся. Тайга — это тайга.

Летчики пахли одеколоном, мылом, отутюженной одеждой. Цивилизацией. Невероятно чистоплотны и ухожены были летчики. Неужели и я в городе такой?

Самолет подпрыгнул и полез вверх. Я прилип к иллюминатору. Саня стоял у крошечной избушки посреди белой вселенной и махал рукой.

Летчики, молодые ребята при белых рубашках и галстуках, перекрикивались через шум мотора и смеялись о своем.

Солнце сплющивалось и вплавлялось в горизонт — малиновое, праздничное, вечное. Закат расцвел снега внизу буйной карнавальной гаммой.

Игарка замигала издали гирляндами огоньков, провешивающих порт и улицы. Встреча произошла без формальностей — да и вообще никакой встречи не было. Инспектор госпромхоза убедился, что никто ничего неположенного не приволок, разгружать было уже поздно — грузчиков не было, механик зачехлил мотор, закрыл на ключ дверцу, опечатал ее своей печатью, а инспектор — своей. У всех были свои дела и своя жизнь.

Я сидел в гостинице летчиков и смотрел по телевизору антивоенный митинг в Лужниках. Парок слетал в морозный воздух от единого дыхания десятков тысяч людей.

В коридоре дежурная наставляла по телефону мужа, чем кормить детей.

Летчики хвастались своими женами и пили за семьи — они были командированы сюда из Красноярска.

Смешной внук шамана. Пропавший учитель для детишек таежных школ. Твоя совесть и твой страх оказались сильнее твоего разума и веры.

Разум человечества, наверное, должен быть равен его совести. Люди не могут отрешиться от дел — кто ж за них все эти дела сделает? Кто ж, кроме нас самих, поведет нас дальше, преодолевая все опасности, вплоть до самых страшных.

Телевизор показывал антивоенные выступления по всему свету.

Десятки и сотни тысяч лет мы боролись. Боролись с холодом и голодом, хищниками и болезнями. Из бесконечных глубин наш путь — путь борьбы за жизнь; умение бороться за нее живет в нас от пращуров, оно сидит в наших генах. От опасности не спрячешься, не пересидишь ее — у нас нет выбора, кроме победы.

Я отпечатал под копирку письмо ему и оставил с просьбой во всех московских магазинах «Старой книги». Авось ведь выберется еще.

Надо бы встретиться, договорить.